

## ОБ АВТОГРАФАХ СТИХОТВОРЕНИЯ «ДВА ЧУВСТВА ДИВНО БЛИЗКИ НАМ...»

Эти два болдинских автографа Пушкина, относящиеся к середине октября 1830 г., написаны, как и все рукописи знаменитой болдинской осени 1830 г., на отдельных листах; первый — на фабричном полулисте почтовой бумаги, второй — на четверке фабричного листа. Обе эти рукописи были впервые напечатаны еще в 1903 г. И. А. Шляпкиным<sup>1</sup> и хранятся в Пушкинском Доме — ПД 136 и ПД 137.

На обоих листах — стихотворение Пушкина «Два чувства дивно близки нам...». Первая рукопись представляет собой черновой автограф, вторая — белой, переходящий в черновой. Мы привыкли воспринимать это пушкинское стихотворение как незавершенный набросок — между тем, судя по автографам, подобное восприятие обманчиво.

Автограф ПД 136 открывается планом некоего сочинения. В большом академическом издании 1937—1949 гг. он отнесен к «<Опровержению на критики>»; в позднейших академических подборках — к нереализованным «Запискам».<sup>2</sup> Во всех изданиях этот план воспроизведен неверно. Вот в каком виде напечатан этот план в Большом Академическом издании:

«Древние, нынешние обряды. Кто б я ни был, не отрекусь, хотя я беден и ничтожен. Рача, Гаврила Пушкин. Пушкины при царях, при Романовых. Казненный Пушкин. При Екатерине II. Гонимы. Гоним и я» (XI, 388).

Обращение к автографу дает иное чтение:

«Древние, нынешние обряды — [где] кто б я ни был<sup>3</sup> не отрекусь хотя я<sup>4</sup> беден, и ничтожен — Рача, Гаврила Пушки<н> Гани<бал><sup>5</sup> Пушкины при царях при Романо<вых> Казненный Пушкин при Екатерине Гани<бал> II и я».

В этом «плане» упомянуты предки Пушкина, причем именно те, которые стали персонажами стихотворения «Моя родословная» (в автографе оно помечено 16 октября 1830 г.). И в том же порядке. Рача (Радша) — родоначальник Пушкиных (поэт ошибочно

<sup>1</sup> Шляпкин И. А. Из неизданных бумаг А. С. Пушкина. СПб., 1903. С. 20—21, 54. Факсимильное воспроизведение: Пушкин А. С. Болдинские рукописи 1830 года. СПб., 2009. Т. 3. С. 59, 61.

<sup>2</sup> См. комментарии Я. Л. Левкович: Пушкин А. С. Дневники. Записки. Л., 1985. С. 269—270.

<sup>3</sup> Слова: «[где] кто б я ни был» вписаны.

<sup>4</sup> Слово: «я» вписано.

<sup>5</sup> Слова: «Гаврила Пушки<н> Гани<бал>» вписаны.

считал его «прусским выходцем» и современником Александра Невского) — фигурирует в ст. 25–26. Пункт «Пушкины при царях» соответствует ст. 29–30 («Водились Пушкины с царями; Из них был славен не один» (III, 262). В ст. 33–38 речь идет о Пушкиных «при Романо<вых>». «Казненный Пушкин» — это Федор Матвеевич Пушкин, приговоренный к смертной казни в 1697 г. за участие в стрелецком бунте, ему посвящены ст. 41–46. Пушкин «при Екатерине» — дед поэта Лев Александрович, который появляется в следующей строфе (ст. 49–55). В «Post scriptum»<sup>6</sup> к «Моей родословной» появляются названные в плане предки по материнской линии: «Ганибал» — известный «арап Петра Великого» (ст. 66–76) и «Ганибал II» — его сын Иван Абрамович, герой Наваринской битвы (ст. 77–80). Не попал в «Мою родословную» только Гаврила Григорьевич Пушкин, думный дворянин эпохи Смутного времени, который в приукрашенном виде «мятежника» был уже выведен в «Борисе Годунове». Но показательно, что его имя вместе с именем Ганнибала вписано на правом поле листа таким образом, что место этой вставки точно не определяется.

Интересно, что расхождения в тексте большого академического издания с автографом образовались явно по «неакадемическим» причинам: при первой публикации (в составе известного описания пушкинских рукописей Л. Б. Модзалевского и Б. В. Томашевского) этот план был изначально и совершенно верно описан как «Программа “Моей родословной”» и прочитан гораздо точнее.<sup>6</sup> Редакторам 11-го тома, в духе создававшегося тогда пушкинского «мифа», понадобилось в 1949 г. усилить тему «гонимого» Пушкина, — что они и сделали.

То, что перед нами план именно *стихотворного* произведения, видно уже по характеру правки одного из фрагментов автографа: после слова «хотя» вставляется местоимение «я» — и в результате складывается строка четырехстопного ямба:

Хотя я беден и ничтожен

Эта строка служит в плане переходом к рассказу о собственной дворянской *родословной*, которая подана нарочито остро. Пушкин, восстанавливая в художественной форме исторические события, вообще предпочитал представлять их в наиболее остром варианте.

При этом все должно было начинаться с разговора о «древних» и новых «обрядях», продолжаться заявлением о «неотречении», переходить в мотив аристократической «бедности» и завершаться

---

<sup>6</sup> Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском Доме: Научное описание / Сост. Л. Б. Модзалевский, Б. В. Томашевский. М.; Л., 1937. С. 57–58.

панорамой собственных знаменитых предков, представленных избирательно, наиболее интересными для автора историческими персонажами. Но те литературные ощущения «аристократа» и «мещанина во дворянстве», о которых повествуется в начале «Моей родословной» («Смеясь жестоко над собратом...»), никак не назовешь «обрядами».

«Не отрекусь» — от чего? Да именно от своего «родословия»: далее следует перечисление прославленных в истории предков, завершающееся указанием на самого «действителя» — «и я».

После этого, отчеркнув план, Пушкин начинает работу над стихотворным текстом, который, по всей видимости, должен был стать началом «Моей родословной» и лишь позже был осмыслен Пушкиным как самостоятельный поэтический набросок. Он не только «конденсирует тот психологический комплекс, из которого вырастают многие лирические произведения Пушкина рубежа 1830-х годов»,<sup>7</sup> но и отражает некий «общечеловеческий» замысел политического памфлета.

Первый стих посвящен как раз тем «двум чувствам», которые создают вечные «обряды». Он не сразу сформировался в окончательном виде: «Два чувства Богом нам даны», «Священные два чувства нам», «В двух чувствах данных Богом нам»... Затем, после ряда вариантов, первая строфа уже в черновом автографе получает следующий вид (привожу последний слой):

Два чувства дивно близки нам  
В них обретает сердце пищу  
Любовь к отеческим гробам  
Любовь к родному пепелищу.

(III, 847)

Во второй строфе тоже происходят пробы вариантов: «Они священы человеку», «Они священы в нас от века»... В конце концов Пушкин формирует и ее (привожу последний слой):

На них основано от века  
По воле Бога самого  
Самостоянье человека  
И всё величие его.

(III, 847–848)

Затем Пушкин уверенно продолжает третью строфу:

На них основано семейство  
И ты, к Отечеству любовь!..

(III, 848)

---

<sup>7</sup> Сидяков Л. С. Болдинская лирика как этап в эволюции пушкинской лирики на рубеже 1830-х годов // Болдинские чтения [1977]. Горький, 1978. С. 11.

И — тут же зачеркивает: патриотическая тема «вторгается» в «обряды» не очень логично и не вполне соответствует поэтическому заданию.

Третью строфу Пушкин продолжил, кажется, не сразу: она начата на свободном месте листа, в другом его положении:

Земля была б без них пустыня  
[и без бытия]  
[Отечество]                      святыня  
[И]                                      [семья]

(Там же)

В конечном итоге «Моя родословная» оказалась у Пушкина таким «полемическим» документом и рассматривалась им как очередная «опыт отражения некоторых нелитературных обвинений». Воспринятая как «косвенная сатира на происхождение некоторых фамилий» (XIV, 241–242), она оказывалась интересна прежде всего своим «политическим» подтекстом — противопоставлением «старинного» русского дворянства той «новой знати», которая и составила всесильную придворную бюрократию, управляющую Россией. Подобное памфлетное семантическое «многоцветие» видим только в окончательной редакции стихотворения. «Начало», зафиксированное на листе ПД 136, явно «выбивалось» из подобного содержания и не было использовано.

Через некоторое время — когда стало понятно, что начатый набросок «не ложится» в структуру «Моей родословной», Пушкин перебелил написанное на другом листе (ПД 137), восприняв его как вполне законченное и цельное афористическое стихотворное высказывание:

Два чувства дивно близки нам,  
В них обретает сердце пищу:  
Любовь к родному пепелищу,  
Любовь к отеческим гробам.  
На них основано от века  
По воле Бога самого  
Самостоянье человека,  
Залог величия его.

На листе ПД 137 это стихотворение явно перебелено: Пушкин уверенно, без какой-либо правки, переписал его — в качестве *завершенного* текста, «отпочковавшегося» от «Моей родословной» и решавшего иные задачи. Эта «завершенность» подчеркнута конечным рисунком геральдического «орла»: подобные графические «завершения» в рукописях Пушкина были знаком «удовлетворительной концовки».<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Фомичев С. А. Графика Пушкина. СПб., 1993. С. 93.

Но через какое-то время (возможно, уже по возвращении из Болдина) поэт вновь вернулся к этому тексту. И — другими чернилами и другим пером — *целиком вычеркнул второе четверостишие*. И тем же пером начал прорабатывать дальнейшее, вернувшись к набросанной третьей строфе чернового автографа: «Земля без них одна пустыня», «Без них нам тесный мир пустыня» и т. д. Наконец, получилось следующее чтение:

Животворящая святыня! —  
Земля была без них мертва  
Как < > пустыня  
И как Алтарь без Божества.

(III, 849)

Заметим, что подобное прочтение (которое Т. Г. Цявловская представила в качестве основного текста второй строфы — см.: III, 242) — далеко не единственное: Пушкин дал два незачеркнутых варианта (следом за зачеркнутым текстом — и на полях!), предоставив пушкинистам возможность в данном случае «досочинить» что угодно. Ибо позднее он к этому наброску больше не обращался. Образец такого «досочинения» представил, например, Л. М. Аринштейн, предложивший в третьем стихе этого четверостишия редакторскую конъектуру: «Как <без оазиса> пустыня».<sup>9</sup> Но подобная конъектура только еще более запутывает проблему.

Творческая история наброска Пушкина о «двух чувствах» — если его рассматривать имманентно — представляется несколько загадочной. В самом деле: почему Пушкин вычеркнул самое сильное место и самую важную мысль — о «самостоянье человека»? И почему, несмотря на это, «два чувства» воспринимаются в качестве «животворящей святыни»? И что это, в конце концов, за два «дивно близких нам» чувства?

«Любовь к родному пепелищу». «Пепелище» — это очаг, дом, жилище, вовсе не обязательно сгоревшее или уничтоженное:

Когда же с мирною семьей  
Черкес в отеческом жилище  
Сидит ненастною порой,  
И тлеют угли в пепелище...

(IV, 101)

Для Пушкина в данном случае важно указание на «пепелище» как на *родовой* очаг, вокруг которого объединяется семья.

---

<sup>9</sup> Аринштейн Л. М. Незавершенные стихотворения Пушкина: (Текстологические проблемы) // Пушкин: Исследования и материалы. Л., 1989. Т. 13. С. 295–298.

Другой поэтический обряд, связанный с почитанием «родного пепелища», был описан еще К. Н. Батюшковым в послании «Мои Пенаты» (1812):

Отчески Пенаты,  
О пестуны мои!  
Вы златом не богаты,  
Но любите свои  
Норы и темны кельи,  
Где вас на новосельи  
Смирненно здесь и там  
Расставил по углам...<sup>10</sup>

Строки Батюшкова написаны в родовой усадьбе, принадлежавшей покойной матери. Пушкинские стихи написаны в Болдине — покинутой усадьбе деда, полной самыми причудливыми мифами вроде апокрифических легенд про «дедушку», Льва Александровича, якобы хранившего верность Петру III во время переворота 1762 г. (за что был посажен в крепость) и повесившего на усадебных воротах «француза-учителя».<sup>11</sup> Оказавшись возле этих самых «ворот» (XIV, 114), в старом болдинском доме, где обитало несколько поколений «бояр старинных», поэт особенно остро ощущал связь времен.

Понятно, почему эти мотивы возникли в сознании Пушкина именно «болдинской осенью» 1830 г. До этого времени поэт не особенно интересовался своим родословием с отцовской стороны, предпочитая позиционировать себя в качестве правнука «царского арапа» Ибрагима Ганнибалы, мечтающего «о дальней Африке своей». В начале августа 1830 г. Фаддей Булгарин в напечатанном в «Северной пчеле» «Втором письме из Карлова на Каменный остров» опорочил этот «миф», заявив, что предок поэта был куплен неким «шкипером» «за бутылку рому».<sup>12</sup> В это время сам Пушкин находился в Москве у умиравшего дяди Василия Львовича (он скончался 20 августа) и знакомился с генеалогическими документами по отцовской линии (хранившимися у дяди как у старшего в семье), а заодно и с устными преданиями этого рода (в том числе и с выдумками про своего деда).<sup>13</sup>

Так что у поэта к этому времени сформировалось (даже биографически) не просто осознание *Дома* — но облик неповторимого «пепелища», знакового по своему «родовому» ареалу.

<sup>10</sup> Батюшков К. Н. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 207.

<sup>11</sup> Об апокрифичности этих преданий см.: Овчинников Р. В. По страницам исторической прозы А. С. Пушкина. М., 2002. С. 41–90.

<sup>12</sup> См.: Пушкин в прижизненной критике: 1828—1830. СПб., 2001. С. 280.

<sup>13</sup> См.: Старк В. П. Пушкин и семейные предания его рода // Легенды и мифы о Пушкине: Сб. статей. СПб., 1995. С. 72—73.

«Любовь к отеческим гробам». Здесь имеются в виду не собственно «отцы» — но все представители «рода»: в одном из ранних вариантов было «И к мертвым прадедам любовь». С этим чувством связан обряд поминовения усопших, столь значимый и частый в православном богослужении.

Поэтическая мысль Пушкина в данном случае предельно проста: два чувства определяют человеческое *самостоянье* — то есть его неповторимость и значимость посреди множества ему подобных существ окружающего мира. Ю. М. Лотман заметил: «Слово *самостоянье*, созданное Пушкиным, замечательно выражает понятие гордости, чувства уважения к себе, соединения культуры с ценностью родного дома».<sup>14</sup>

Между тем, оказавшись в составе стихотворных «вариантов», это слово, единственный раз употребленное поэтом, не попало даже в основной состав «Словаря языка Пушкина».<sup>15</sup>

Из сказанного вытекает важный текстологический вывод.

Тот текст интересующего нас пушкинского стихотворения, который — в качестве основного — представлен в большом академическом издании, *не может считаться удовлетворительным*. В нем оказались некритически соединены результаты *двух этапов* работы над произведением. В этом тексте первое, вполне отделанное, четверостишие («Два чувства дивно близки нам...» и т. д.) оказалось объединено со вторым («Животворящая святыня...»), отражающим последующую, не очень удачную и к тому же явно не завершенную, попытку «доделки» стихотворения.

То четверостишие, которое поначалу присутствовало в пушкинском беловике как заключительное («На них основано от века...»), оказалось при подобном прочтении в разделе других редакций и вариантов — на том основании, что позднее Пушкин его зачеркнул. В целом же стихотворение рассматривается как «черновой набросок» — на это прямо указывает примечание в малом академическом издании.<sup>16</sup>

Неправомерность такого текстологического решения как будто давно ощущается некоторыми серьезными пушкинистами. Так, Л. С. Сидяков в работе, посвященной болдинской лирике, привел это стихотворение, в нарушение всех текстологических правил (о чем специально поведал в примечании), в составе *трех*

---

<sup>14</sup> Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. СПб., 1996. С. 807.

<sup>15</sup> Слово «самостоянье» включено в раздел «Дополнения к словарю» лишь во 2-м, дополненном издании — см.: Словарь языка Пушкина. 2-е изд., доп. М., 2000. Т. 4. С. 1081.

<sup>16</sup> Акад. в 10 т. (2). Т. 3. С. 515 (примеч. Б. В. Томашевского).

четверостиший.<sup>17</sup> И стихотворение оказалось вполне соответствующим его характеристике как произведения, которое «конденсирует <...> психологический комплекс»<sup>18</sup> пушкинской лирики рубежа 1830-х гг. Подобное заявление не очень сочетается с определением «черновой набросок».

Стихотворение «Два чувства дивно близки нам...», по существу, не может считаться *черновым наброском*, поскольку имеет беловой автограф. Оно, как мы помним, «отпочковалось» от первоначально (не памфлетного) замысла «Моей родословной» — и приобрело тот вид, который самому автору представлялся вполне завершенным. Переписав стихотворение набело (от: «Два чувства дивно близки нам...» — до: «Залог величия его»), Пушкин тем самым обозначил цельность и завершенность поэтического высказывания. И на определенном этапе оно существовало в его сознании в этом самом, вполне «беловом», виде.

И если позднее Пушкин почему-то решил «развить» привлекательные для него «конденсирующие» идеи этого стихотворения и начал (но не завершил!) работу над его продолжением, то это вовсе не отменяет того этапа, когда произведение *ощущалось как законченное*. Причины, по которым Пушкин возобновил работу, не очень понятны. Важно, что эта операция проделана с уже «готовым», перебеленным текстом.

С. А. Фомичев заметил по этому поводу: «Могут сказать, что Пушкина этот текст не вполне удовлетворял, иначе бы он не принялся его исправлять. Но, во-первых, и о напечатанных своих произведениях он порой высказывался довольно критично, а во-вторых, невозможно доказать, что редакторское дополнение ему бы понравилось больше, нежели собственный текст, хотя бы и черновой».<sup>19</sup>

Поэтому логичнее именно болдинский беловой автограф принять как *основной текст*, а в «варианты» перенести именно последнее, незавершенное четверостишие («Животворящая святыня...» и т. д.).

В. А. Кошелев

---

<sup>17</sup> Сидяков Л. С. Болдинская лирика как этап в эволюции пушкинской лирики на рубеже 1830-х годов. С. 11.

<sup>18</sup> Там же.

<sup>19</sup> Фомичев С. А. Незавершенные произведения Пушкина как издательская проблема // Незавершенные произведения Пушкина: Материалы науч. конференции. М., 1993. С. 103.



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
ПУШКИНСКАЯ КОМИССИЯ

ВРЕМЕННОК  
ПУШКИНСКОЙ  
КОМИССИИ

Выпуск 31

Сборник научных трудов



ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ПУШКИНСКОГО ДОМА

Санкт-Петербург

2013